Живые крылья

СОКОЛ готовился к броску. Между ним и землёй летела стая птиц. Краем глаза сокол примечал: квадраты полей, шоссейка, грузовик катит, длинно пыля. И ещё – из неба, из синевы, приближался к земле самолёт, тянул осторожно и, издали казалось, медленно.

Ближе, ближе… Вот подправил на ветер, выставил три ноги. Наплывает бетонная полоса…

Птичья стая приблизилась в меру. Сокол на миг остановился в воздухе, завалился через крыло и, вначале небыстро, но с каждым мгновением стремительнее, стал падать. Его уже нельзя было различить. Мчалась тень.

Послышался светлый свист…

* * *

Когда в школе, незадолго до выпуска, Керим задумывался, кем быть, он всякий раз воображал себе не профессию, а как бы образ жизни – не кем работать, а как жить.

Хотелось ему такого занятия, при котором была бы свобода. Не в том смысле, что ничего не делать или делать, что в голову взбредёт, а просто – чтоб дышалось вольно, чтоб много двигаться, ходить пешком, ездить… Работают же люди в экспедициях, отправляются в маршруты, одолевают зной, стужу. Вот такого хотелось дела. Живого.

В посёлке, где жил Керим, посреди солнечной степи с далёкими сиреневыми на горизонте горами, был маленький аэропортик. Там трудился дядя Керима, Ырсалы. Дядя Ырсалы и посоветовал: чего раздумывать, поступай к нам. А подучиться можно заочно.

В аэропортике Керим бывал часто. Прикатит весной, отвыкнув за зиму, прислонит к акации велосипед и раз-

в Московском издательстве «Малыш» – сборник с иллюстрациями одного из лучших книжных художников Николая Устинова. В предисловии к книге «По следам животных» (Таткнигоиздат, 1989) Владимир Байдерин написал: «Легла зима. Раскрылась Белая книга. Стали появляться на чистых её страницах первые строчки снежных повестей…» Владимир Байдерин был романтиком, влюблённым в природу. Осталось много рукописей, фотографий с видами природы и животных, которые его отец называл «охотой без ружья».

Прошлый, 2017 год, был объявлен в России «Годом экологии», и издательство «Казанская недвижимость» выпустило книгу Владимира Байдерина «Живые крылья», в предисловии к которой сказано: кроме научных работ он писал книги о природе, животных, считал «это дело не совсем бесполезным и надеялся, что его литературные сочинения могут подействовать на человеческую душу». Публикуя в «Казанском альманахе» рассказы из этой книги, тираж которой всего 120 экземпляров, надеюсь, литературные произведения моего брата, в том числе неопубликованные рукописи, в будущем увидят свет в виде объёмистых, многотиражных изданий.

Лариса Байдерина,
сестра писателя

глядывает «кукурузники» – толстокрылые, пузатенькие, прозрачно вертящие пропеллерами, постреливающие синим дымком. Ветерок гладит травку на поле, жаворонки поют. Славно!.. И подумал Керим: а в самом деле, чего выбирать. Вот же тебе – и работа, и воля. Самолёты прилетают откуда-то, улетают куда-то, далеко, туда, где лиловые горы, и ещё дальше, над степями... А можно работать в большом аэропорту. Вот где, должно быть, здорово – уж там-то самолёты не такие, не эти «антошки» на прыгучих колёсиках – лайнеры! И летают в другие страны…

Вот так Керим и стал работать в аэропорту. И даже в большом, городском, правда, не международном. Но лайнеры там приземлялись стремительные, длинные, похожие на белые сигары. Работал он на лётном поле техником. И всё поначалу шло хорошо. Профессия нравилась. Самолёты, простор… Первое время Керим даже замечал в себе удовольствие, когда он, в обтёртом по фигуре комбинезоне, промасленном и тяжёлом, в кожаном шлеме и наушниках в позе довольно-таки небрежной стоял перед самолётом, готовым к вылету, вёл переговоры с экипажем, а пассажиры глядели на него из круглых окошек лайнера, голубоватых, похожих на лаковые льдинки, смотрели, как он, придерживая у горла круглые на рожках микрофончики, говорил что-то немногословно и отрывисто, что именно, пассажиры, конечно, слышать не могли, но, очевидно, важное, ибо, пока Керим говорил, лайнер не трогался с места. Закончив переговоры, Керим отсоединял длинный шнур, свёртывал его в кольца наподобие ковбойского лассо, чуть отходил в сторонку и делал рукой жест – широкий и щедрый, будто отворял ворота в небо. И только тогда лайнер, громадный, умнолобый, послушно прибавлял турбинам воя и начинал движение.

Но дни шли. И всё повторялось изо дня в день. Прибывали в порт самолёты, и надо было их встречать – волочить под шасси колодки, таскать электрические кабели, топливные шланги. И летом и зимой всё те же колодки, шланги… Ко всему этому Керим привык. Не стало новизны, осталась однообразная работа. Помаленьку Керим утратил картинные жесты, стоял перед лайнером уже не с наигранной ленцой, а просто стоял. И когда тягач брал лайнер на буксир и тянул его по большим бетонным квадратам, Керим просто шагал рядом, удерживая в кольцах телефонный шнур. Со стороны, особенно если глядеть из самолёта, откуда не виден тягач, казалось, будто это он, Керим, везёт самолёт, словно большую всамделишную игрушку на верёвочке. Только что же он шагает так грузно и поглядывает на самолёт так привычно-устало?..

Керим отработал год, трудился второй… Каких-либо особых событий не случалось. Только однажды был объявлен аврал по аэропорту, даже не аврал – так, нечто вроде всеобщего субботника, довольно весёлого. Онищенко, командир авиаотряда, распорядился поснимать грачиные гнёзда в привокзальном скверике, маленьком и пыльном.

Гнёзда густо унизали кроны карагачей. Снимали вначале шестами, потом сбивали водой из брандспойта. Пожарный начальник, долговязый носатый майор, сам похожий на грача, в широких галифе, в узеньких сапогах гармошкой, указывал:

– Вон там ещё, туда вдарь.

Струя колотила в гнёзда.

Дело происходило весной. На землю хлопались грачиные яйца. Птицы густо метались вокруг, орали… Пассажиры и шофёры такси наблюдали из-за бортика. Кто-то крикнул:

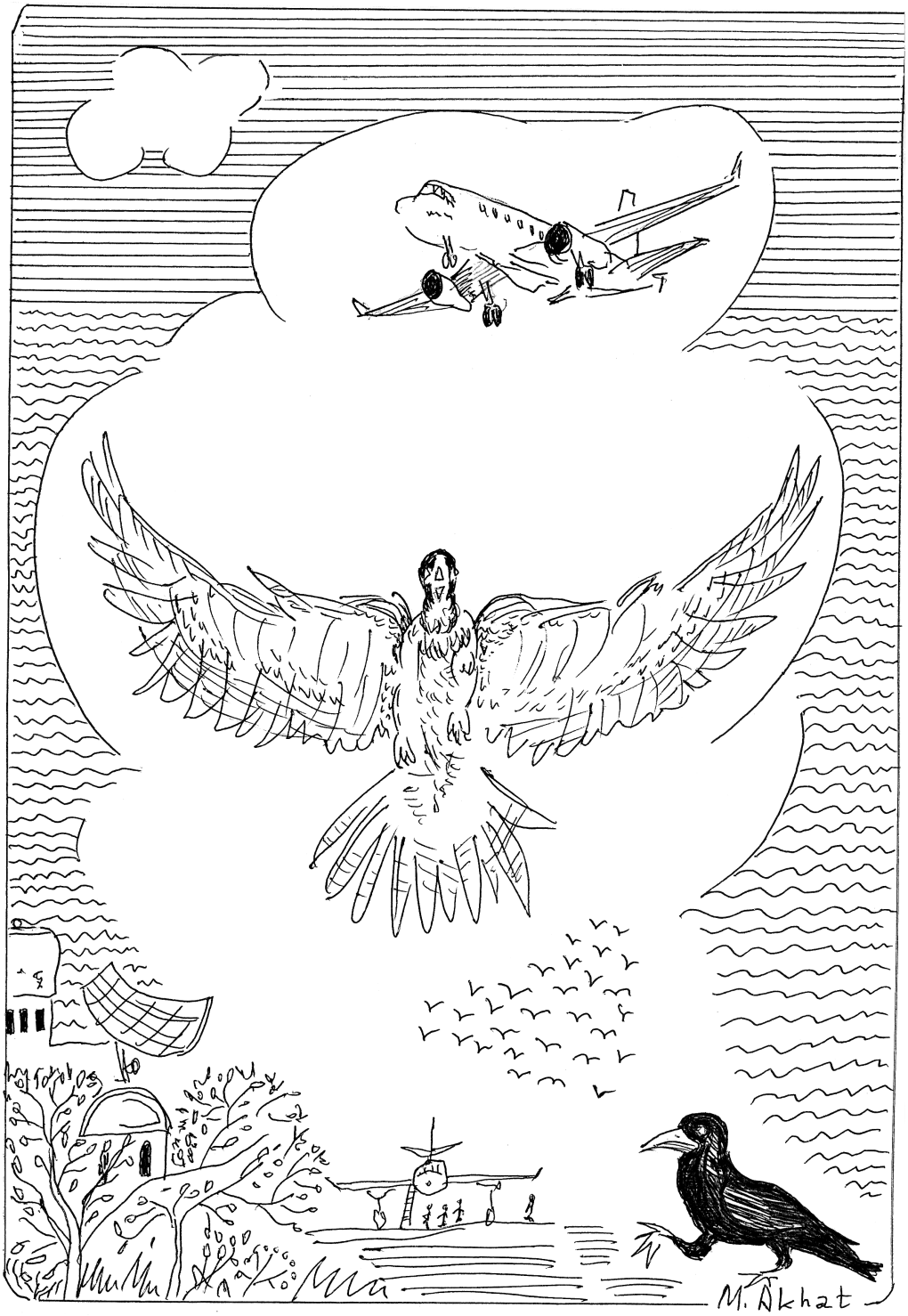
– Самих бы вас струёй!

Майор сдержанно подошёл к пассажирам.

– Граждане, спокойно. Всё делается по инструкции. Птиц в аэропорту водиться не должно.

– Чё они вам, мешают, што ли? У них, можь, птенцы.

– Птенцы… – Майор опустил большой нос и крутнул головой, изумляясь: – Жалко, да. А знаете, что бывает?


M. Akhat

Народ притих.

– Нет, я, конечно, пугать не буду. Это дело огласке не подлежит. Но только… всякое случается.

– В смысле?

– В смысле, что сели вы, допустим, гражданочка, в самолёт, всё чин чином, взлетаете. А на трассе – грач. Что тогда?

Все молчали. Шумела по гнёздам вода.

– А то, что самолёт в грача – трах! – и… комментарии излишни. Навернетёсь за милую душу.

Майор с суровой иронией, как детей, оглядел пассажиров.

– Жалко теперь?

Пассажиры сникли. Никто не отвечал. Отводили взгляды. Жалко, конечно – вон как орут грачи-то, надрываются.

Гнёзда посбивали. Сгребли мокрый сор. Скверик вымели. Однако грачей в аэропорту меньше не стало. Летом было ещё терпимо. Но ближе к осени… Появлялись не одни грачи. Над взлётной полосой реяли ласточки. Изредка стая скворцов проносилась комариным роем, стремительным и подвижным, как ртутная капля, перетекающим внезапно то в одну сторону, то в другую.

Прилетали голуби, сизые и опрятные, настороженно опускались в траву, тянули из поблёкших стебельков зоркие головки. Но больше всего было грачей. Стаями тронулись они на юг и оказывались всюду: в скверике, на стоянках такси и автобусов, на тополях, пыльно сорящих листьями. Обследовали урны, долбили крепкими клювами яблочные огрызки. Настроение у грачей было дорожное. Птицы расхаживали с видом, какой бывает у шофёров междугородних грузовиков-холодильников, когда они, делая далёкий рейс, остановятся на час закусить в придорожной столовой и похаживают вокруг машин, попинывают пыльные покрышки, поглядывают с дорожной свободой: что им?

Сегодня – здесь, завтра – там. Даже наружностью грачи походили на этих шофёров – затылки у них были такие же, коротко стриженные, и так же, как у шофёров, свисают на колени полы измятых пиджаков, так и у грачей свисали спереди в виде передников над сухими тонкими лапами блестяще-чёрные перья.

Раз в эту пору Керим починял полосатый деревянный щит в конце взлётной полосы. Честно сказать, это дело не техника, но начальство послало – чини. Щиты эти, вроде домиков, стоят справа и слева от полосы, чуть в стороне, в степи. Хорошо здесь. Нет утомляющего свиста турбин, точнее, не так часто этот свист, только когда садится самолёт. А так – тихо, ветерок мягко толкается, пахнет травами пряно.

На прыгучем «газике» подъехал Онищенко. Заглушил мотор, вышел, с удовольствием потянулся. Тоже, видать, не сладко безвылазно сидеть в кабинете. Подошёл, сел на травку. Брюки задрались у него на коленках, выставив ноги в носках.

– Стучишь?

– Стучу.

Было видно, что Онищенке хочется просто посидеть, подышать степью. Молчал, смотрел на полосу. Над бетонкой, широкой, в жирных мазках оплавленной резины, текло марево. В мареве мелькали грачи. Скакали неловко, разнимали крылья, ветер подхватывал их, нёс, как чёрное тряпьё, машущих, картаво кричащих. Онищенко кивнул в сторону грачей:

– И как от них избавиться? Я уже что только не делал. К научникам пошёл. – Тут он сел поудобнее, посмотрел на Керима и, вспоминая, посмеялся. Ему всё же хотелось как-то развлечься, поболтать. – К науке пошёл. На поклон. Они мне тут, пинимаешь, ворон считали, а я им деньги платил. Не-е, ты вникни. Чтоб за такое-то дело! Чтоб я ворон считал, а мне чтоб платили.

Керим посмеялся:

– А ведь платил! По хоздоговору, всё путём. И что ты думаешь? Один, говорят, кандидатскую защитил. Во как! На воронах. А их… вон, сколько было, столько и летает. Он в сердцах помолчал. Керим тоже сделал вид, что огорчился.

– Не-е, они вообще-то ребята ничего были, научники-то. Рекомендаций понаписали – читай не перечитаешь. Запись магнитофонную сделали. Ворону, понимаешь, тянули перед микрофоном за ноги в разные стороны. Ну, она и орала, бедная, благим матом. Вот, дескать, как дашь на поле эту трансляцию, все улетят. И что ты думаешь? Улетали.

Да. Вначале-то. А потом, видать, смекнули, что липа, мол. Ворона им из динамика орёт, а настоящей-то тревоги нет. Тоже, брат, ушлые. И как поняли, всё – пиши пропало. Хоть целый день транслируй, а им – бара-бер*.

Онищенко крупно захохотал. Керим тоже посмеялся.

Посидели молча. Керим сказал:

– У меня дедушка здорово этих грачей пугал.

– Огородник, что ли?

– Кто?

– Дед-то.

Теперь по-настоящему рассмеялся Керим.

– С ловчими птицами.

– Это что же, сокольник, что ли?

– Мунушкор. По-русски, сокольник, да.

– Гляди ты!

– Мой дедушка соколов вынашивал, охотиться приучал.

– Что ты говоришь!

– Честное слово.

– И ловит сам?

– Нет. Мунушкору ловить сокола нельзя. Сокол запомнит, кто его поймал, к этому человеку не полетит. Саятчи ловят. У нас разные люди есть. Саятчи ловят, мунушкоры охотятся. Ещё беркутчи есть.

– С беркутами?

– Да.

– Ты смотри…

– У нас тоже беркут был. Давно. Только беркут грачей не ловит. Лисицу ловит, волка.

Опять помолчали. Кериму неожиданно ярко вспомнился степной посёлок, родной дом… Онищенко тоже что-то соображал.

– Слушай, а где он, твой дед?

– Дома.

– Слушай, – заморгал усиленно Онищенко, – он сейчас-то как, охотится?

– Немножко. Здоров когда.

– И какая же у него птица?

– Шумкар.

– Орёл?

– Сокол.

– Возьмёт грача?

– О, ещё как!

Онищенко опять что-то прикинул в уме.

– А если нам твоего деда пригласить? Ну, так сказать, в порядке шефской помощи. Я это дело оформлю. Проезд бесплатный.

– Не знаю, – застенчиво улыбнулся Керим. – Я ему напишу.

– Напиши, слушай. Сегодня же. – Онищенко, большой, в не застёгнутом кителе, поднялся. Идея захватила его. – Да нет, чего писать? Слетай к нему. Где он, говоришь, живёт?..

Через несколько дней по трапу самолёта, прибывшего в аэропорт, спускались Керим и его дедушка, Аширбай.

Пассажиры, прилетевшие с ними, и люди на перроне разглядывали старика: тот был в долгополом ватном чапане, в зелёной фетровой шляпе, и нёс на руке, на кожаной перчатке, сокола, сидящего столбом.

* * *

Шумкар пережил две зимы, готовился зимовать третью, когда был пойман в горах Киргизии, у озера Иссык-Куль. Он не помнил той, вольной жизни. Если и вспоминалось что-то смутное в долгие часы одинокого сидения на шестке, когда в полутёмном сарае гудели мухи, да пёстрый удод, прилетая к птенцам, спрятанным в щели под глинобитной стеной, глухо бубнил и распускал хохол… Если и вспоминалось что-то в эти одинокие часы, то шумкару казалось, что всё это было не с ним и было неправдой.

*** Бара-бер (тюрк.-тат.) – всё равно.**

В памяти слабо выступали горы, склоны, чёрные ельники на снегу, синяя гладь озера-моря. Шумкар сидел на высохшей ели, близ самой маковки, закогтив голый сук.

Издали он был похож на клинышек – укладистый, плечистый, с вжатой в плечи головой, уставленным книзу хвостом. В горах было тихо, остро свежо. Ночью выпал молодой снег. Тишина настоялась в белом покое. Шумкар ждал добычу. Путь его был далёк, и всё горы, горы в пути.

От самого Алтая, где родина алтайских кречетов, его предков, до края скалистой страны, где хребты уходят в землю, в солнечную равнину, где жёлто от вытаявших трав даже зимой. Там предстояло зимовать.

Шумкар осматривал склоны. Замерло всё. Молчали птицы. Ни малик зайца, ни строчка пищухи не тронули новую белизну. Голод всасывался в нутро. И медлить нельзя, надо лететь – зима пришла в горы…

В это время под ельником, на склоне, ворохнулось что-то живое. Шумкар всмотрелся. Живое рванулось, упало, забилось клубком. Голубь. Что занесло его сюда, на высоту? Шумкар слетел. Он протянул, то часто махая, то коротко планируя, над ельником, и по наклонной линии, как с горки, устремился на жертву. Голубь замельтешил.

Очевидно, он был подранен, этот глупый голубь, не мог лететь. Шумкар набирал скорость. Он намеревался промчаться низко и зацепить вскользь когтями. Так он всегда брал пищух, жирных крикливых пищух, живущих по каменным осыпям, и другую добычу, если она была на земле.

Он налетел. Но в последний момент, когда оставалось, обдав голубя ветром, ударить его, что-то беловатое, как паутина, охватило шумкара. Крылья сомкнулись. Паутина не позволяла их раскрыть. Но полёт сокола, был так силён, что он смятым комом унёсся вперёд ещё шагов на сто, утаскивая на себе сеть вместе с тонкими прутьями, державшими её над приманкой... А из ельника по склону уже бежал человек, раскачивался на мягких кривых сапогах – раскосый, в лисьем малахае, лисий хвост свисал до плеча. Шумкар вперил глаза врагу в лицо, спружинил когти. Но сеть, сеть!..

Саятчи минуту любовался.

– Кара-шумкар…

Пальцы у него дрожали. Подбежал второй, помоложе.

– Балтыр-боо… – велел охотник.

Молодой достал из сумки кожаные ремешки. На ремешках блестели два бубенчика. В тишине серебристо запело.

– Узун-боо, – сказал охотник.

Молодой вынул из сумки другой ремешок, узенький, длинный.

– Томого, – приказал охотник.

Помощник извлёк кожаный капюшончик, маленький, по размеру соколиной головы, клобучок с завязками, с прорезью для клюва.

Всё это было одето на сокола. Узун-боо, опутенки, на лапы, и зашиты шёлковыми нитками, на голову – клобучок.

Сокол сделался похож на птичье чучело, для головы которого не хватило перьев и её оставили кожистой мумией, неподвижной, безглазой. Белый свет погас для шумкара…

Только после этого сокола выпутали из сети – бережно, опасаясь помять драгоценные крылья. На мгновение сокол ощутил, что может взмахнуть. Но лишь на мгновение.

Люди завернули его в пелёнку, в полотняный куль с двумя дырами – побольше для туловища, поменьше – для головы, и завязали не тесно, но прочно.

Всё это помнил сокол. Этого он не мог забыть. Помнил он и то, что началось после. Началось же мучение, пытка голодом и темнотой. Вначале везли верхами. Стучали конские копыта, скрипело седло. Потом – лай собак, голоса… В аиле сняли клобучок. Страх сковал шумкара.

Лица, скуластые, бронзовокожие склонились низко, щёлкали в восторге языками. Косматые малахаи заслонили небо.

Шумкара поручили мальчишкам. И те до вечера, не снимая пелёнки, носили сокола на руках. Вышагивали с ним по улице, ходили к ферме, толкались возле магазина. И всюду были лица, лица, собаки, гулко лающие, машущие хвостами, конские крупы, грузовики, их дребезжанье, стук… Шумкару не давали покоя, его хотели ошеломить.

Подходил и саятчи, рассказывал громко, всплёскивал руками. Прыгал на плече лисий хвост. Шумкар напрягался, готовый впиться когтями, вертел головой, поводил плечами под пелёнкой… К концу этого тяжкого дня уже всё плыло у него перед глазами.

Пришла ночь и не принесла покоя. До рассвета сокола все носили. У мальчишек слипались глаза. Но это великая честь – вынашивать шумкара. Никто не роптал.

Так же минул второй день. Соколу не давали есть и пить. Продолжилось ношение в пелёнке.

К вечеру шумкар сделался ко всему безразличен. Лежал на руках. Он уже не вздрагивал на лай собак, на шум машин. Но даже теперь собирал остатки сил, если приближался тот, в хвостатом малахае, главный враг. Даже теперь шумкар готов был закогтить. Только никла голова, и лапы в пелёнке, спутанные, мелко дрожали.

В тот вечер пелёнку сняли. Подошёл человек, которого сокол ещё не видал: в расшитой треуголке с загнутыми полями, с наборным поперёк живота пояском. Человек поднял руку в кожаной перчатке, грубой, заскорузлой, согнул локоть, подставил насестом. В перчатке человек держал распластанную грудину голубя с одним крылом.

Голод высосал шумкара. Но всё это время он ждал одного – когда освободят крылья. Он рванулся. На мгновение ему стало так, как тогда, в сети, когда он ещё не понял, что попал в сеть. Показалось, что-то случайно помешало взлететь. Он ринулся вторично и повис, болтаясь на опутенках…

Пытка возобновилась. Шумкара отнесли на конюшню, в пустующий денник, посадили на палку, подвешенную над земляным полом на верёвках, привязанных к концам. На голову одели клобучок, Шумкар низко пригнулся, его шатало. Ослеплённый, он не решался взлететь. Но и заснуть ему не удавалось. Люди придумали новую муку – привязали к палке длинный шнур, и всякий из них, проходя мимо денника, дёргал шнур, раскачивал палку. Сокол бился, удерживая равновесие. Люди, дёргая шнур, могли говорить, лишь один из них всегда молчал. Изредка он входил в денник, протяжно посвистывал, снимал с сокола клобучок. Это был тот, в наборном ремешке. Он подставлял перчатку, манил голубем, звал... Измученный сокол уже не пытался взлететь. Но и корма не брал. Он всё ещё надеялся на что-то, ещё крепился…

Ему оставалось одно – умереть. И тогда он навсегда остался бы вольным шумкаром. Выжить означало переродиться, стать другим. Этого хотели люди. Они стремились сделать сокола заново, сделать послушным.

На третьи сутки шумкар начал есть. То, что ещё оставалось в нём от воли, затмилось чёрным голодом, угасло.

Он насыщался жадно. Человек, посвистывая, незаметно подменил зыбкую палку перчаткой, и сокол перешёл на неё, впервые за много дней расслабился. Человек дал наклеваться вползоба. Вновь посадил на зыбкий насест.

Полсуток шумкар просиживал зоб. Человек покормил вторично и опять незаметно подсунул перчатку. Шумкар отдохнул. На следующей покормке он сам перешёл на перчатку, которая не качалась. Теперь он ждал, когда хозяин подставит руку. Он приседал столбом, опускал на лапы перьевую юбку, делался похож на маленькую старушку, тихую, сгорбленную. Сник… Хозяин топил узкие глазки в плоском лице. Он знал – теперь шумкар не умрёт.

* * *

И шумкар стал жить. Пленником. В нём что-то сломалось. Не стало зова

воли. Осталось одно – ожидание перчатки и мяса. Поев, он цепенел. Он не пытался взлететь – держали опутенки. Поначалу он щипал ремешки клювом, пытался снять. Но хитроумные люди надевали ему на шею жагоо – воротник из плоских дощечек, подвешенных на нитке в кольцо. Если сокол нагибался, дощечки упирались в зоб. Жагоо при кормёжке снимали. Шумкар понял - врагов не одолеть.

Люди действительно сделали его заново, как бы разложили на части и собрали вновь. С этого времени он уже не помнил ничего, что было на свободе. Он даже забыл, что умеет летать. Полёту предстояло учиться.

Но лишь такому, какой нужен людям.

Началась учёба. Учили так: вначале – ходить на руку.

Кормили половинкой голубя на шестке, внезапно прятали еду и показывали уже на расстоянии, зажав в перчатке. Сокол перескакивал на перчатку, потом перелетал. Опутенки отвязывали от насеста, они болтались на ногах. Колокольцы тоненько пели. Натаскивали в сарае, затем во дворе, на воздухе. Впервые после сидения, увидав дневной свет, белый снег, пёстрые горы, шумкар не рванулся на волю.

Горбился старичком. Хозяин посвистал, и пленник послушно прилетел на зов…

Потом учили ловить вабило – белые крылья голубя, гвоздиками приколоченные к дощечке под красным сукном, с ленточками в виде хвоста, на шнуре. Верёвочками между крыльями ввязывали мясо. Сперва бросали вабило на землю перед шестком. Шумкар пугался, приподымал перья на голове. Помаленьку научился наскакивать, щипать мясо. Затем, кладя вабило всё дальше от шестка, приучили налетать. Наконец, стали пускать шумкара на воздух, он кружил широко и невысоко, ждал, пока хозяин завертит вабилом. Это означало покормку. Шумкар выучился слёту ловить голубиные крылья, когтил сукно, отщипывал кусочки.

И настал день первой охоты. Поехали на речку, в заросли лоха и тополей, в тугаи. Сиял зимний денёк, широко вздымались белые горы, солнечно блестели сухие кусты. Хозяин – в чапане на рыжих шкурах, плотный, тучный – цепко сидел на лохматой лошадке. На голове у сокола был новый клобучок, с султанчиком из перьев филина – на счастье. В клобучке голова делалась неживой. И весь он напоминал бойца-смертника, гладиатора в кожаной маске, снимаемой лишь на арене, перед тем как ринуться в бой…

Хозяина сопровождали двое верхами. Лишний народ тут ни к чему – первый напуск, как-то получится. Накануне шумкара кормили вползоба, нынче не кормили вовсе.

Выехали к вечеру. Сняли клобучок. Шумкар обвыкся, сел поудобнее на руке. Ехали шагом. Шумела незамёрзшая речка, лизала камни в снежных папахах, гоняла под ледком пузыри.

Оляпка перелетала над потоком, садилась на камни, раскланивалась, чирикала, приседала. В дебрях ломоноса попискивали синички. В посёлке стучали в кузнице, в морозном воздухе нежно пело железо…

Цокнул первый фазан. Отозвались другие. Всадники выехали на край поляны. Кругом желтели тугаи. Здесь хозяин остановился. Помощники потянулись в заросли. Сокол глядел им вслед. Они скрылись. Изредка в тугае хрустели сучки. Фазаны не умолкали. И вот впереди затрещали крылья, над солнечными кустами свечкой взвился фазан. Он взнялся высоко вверх, бурно трепеща, переломил линию полёта и, планируя, вытянув длинный хвост, полого стал снижаться над тугаем. Это был нужный момент. Шумкару полагалось взвиться следом, выше фазана, и оттуда, полого ускоряясь, нагнать жертву и смять. Но сокол не пошевелился. Он видел дичь. Фазан вылетел на должном расстоянии, как раз в меру. И брал таких фазанов шумкар не раз… Но брал тот, вольный, которого не стало… Пленник не знал, что делать. Он все так же сидел старичком, оцепенелый.

Продолжились уроки в сарае. Притравливали на подранках. Мало-помалу он начал залавливать…

Так сделали ловчую птицу. Шумкар перестал быть самим собой. Всё решали за него люди. Если худел, кормили свежей дичью, если жирел, давали акжем, отмытое в тёплой воде до белизны мясо барана, белое, без жиринки.

Следили, чтоб был в теле – ощупывали, бережно раздвигая перо. Когда мышцы бывали тверды, под кожей ощущались стержни перьев, а на копчиковой кости – ребристый гребешок, удовлетворённо щелкали языками. Из всех охотничьих приёмов у шумкара остался только один: увидев добычу, сняться, пойти в угон с набором высоты, донять сверху. Всё другое, многое, что он когда-то умел, было не нужно людям. Заловленную дичь отбирали просто: прикрывали ладонью вместе с когтями, вонзёнными в жертву, и показывали вабило. Сокол когтил сукно.

Навсегда погибло в шумкаре былое… Но, оказалось, не всё. Близилась весна. Сокол уверенно сбивал фазанов. На охоту выехали многие – не усидеть в посёлке весной. Дымятся обтаявшие склоны, тёплый ветер дует над тугаем. Ветви качаются, мелькают, тени и свет скользят по просыхающей земле. Речка шумит освобождённо, полно.

Всадники выехали на поляны, развернулись цепью. У троих на перчатках сидели соколы. Но не соперников увидел шумкар. Рядом с хозяином покачивался в седле человек в лисьем малахае, со свисающим до плеча лисьим хвостом. Смеялся, показывал мелкие обломанные зубки…

Не видел ли пленник всю зиму его, главного врага, теперь ли заново узнал, но только уже не спускал карих пристальных глаз с меднокожего лица…

Фазан вылетел пёстрой ракетой. Он был сильным, тот фазан, старый петух с траурно-красным хвостом. Сокол с трудом свалил его. Разгорячённый борьбой, шумкар сидел на добыче, в рыжей сухой траве. Глаза его в такие минуты стекленели от дикой злобы, перья на голове были плотно прижаты. Человек подскакал на лошади, спешился, бежал к нему. И бежал он так же, как тогда, возле ельника, валко качаясь на кривых сапогах, и лисий хвост свисал по плечу… Сокол заклекотал. Он крикнул впервые за время неволи. Саятчи остановился, поражённый взглядом шумкара. Тот вкогтился в фазана, это было кровное, его, это он поймал, он хозяин, и он устал, была погоня, схватка, и сейчас у него все отберут за кусок мяса, вываленного в крошках. Отберёт человек с лисьим хвостом… То был взгляд, полный злобы и отчаяния. Шумкар выпустил добычу, толкнулся от неё и, будто тугой кулак, с размаху ударил в лицо врагу. Раздались вопли. Саятчи отдирал руками когти от лица, струйками текла кровь. По тугаю на шум скакали всадники.

После этого охотиться с шумкаром, даже просто выйти с ним в посёлок, сделалось невозможно. При одном виде врага сокол пригибался, пружинился, готовый напасть.

Саятчи трогал шрамы на щеках, грозил кулаком, плевался.

Но и продать сокола было нельзя. Большой это грех – продать шумкара. Такую птицу не продают. Дарят. В старые годы жил обычай тамыр. И теперь его помнили не многие. Если мунушкор хотел заполучить сокола, выношенного другим сокольником, он просил того стать тамыром, другом. Сокольник соглашался. Но зато теперь он сам мог через год прийти в дом к охотнику-тамыру и взять всё, что понравится, даже ковёр, коня… Вот что такое тамыр.

В это-то время и приехал в посёлок к дальним родственникам по семейным делам Аширбай. Увидел сокола и уже не мог уехать без птицы. Стал тамыром. Новым хозяином шумкара.

* * *

До вечера старик и сокол отдыхали. Аширбай у внука, в общежитии молодых специалистов, сокол тут же, на спинке койки, которую обернули войлоком,

матрац же и пол застелили газетой. В конце рабочего дня Онищенко постучал в комнату. Аширбай пил чай, листал номер «Огонька».

Онищенко присел к столу, отхлебнул из пиалы, сунул в рот, присасывать, солёный жёсткий кырт*.

– Ну, а что же сокол-то? Может, попробуем пускать?

Ему по-мальчишески не терпелось. Аширбай допил чай, поставил пиалу.

– Утром приходи. Спешить не надо. Вечер, охотиться поздно. Спать будем. Утром приходи. Утром охота.

Наутро собрались Онищенко, Керим и Аширбай с шумкаром на руке. Для начала Онищенко решил не рисковать, к взлётной полосе не повёл, распорядился попробовать возле ангаров. Пошли к ангарам. Там, неподалёку, помещалась столовая для лётного состава. С десяток голубей сидело на крыше столовой, ждали отбросов.

Аширбай снял с шумкара клобучок. Минуту сокол оставался неподвижен, на ярком свету приходил в себя. Затем встряхнулся, распушил и вновь гладко прижал пёстрые перья. Из окон столовой из ворот ангаров выглядывали разнообразно заинтересованные лица. Аширбай показал редкие зубы между косицами обвислых усов. Ему было приятно, что любуются шумкаром. Затем старик велел внуку пойти к голубям – попугать. До столовой было шагов двести. Онищенко усомнился:

– Не далеко?

– Не-е… Он быстрый, – успокоил Аширбай.

Голуби взлетели. В тот же миг старик «откинул» шумкара – толкнул его вверх с руки. И сокол, твёрдо зная, что требуется, показал свой единственный приём: взвился, круто забрал вверх и оттуда ринулся вдогонку голубиной стаи. Нагнал, ударил, и с голубем упал. С точки зрения сокола подобное было проще простого. Но людей невиданное зрелище привело в восторг. Онищенко задохнулся:

– Ну, зве-ерь!..

В тот же день попробовали напускать возле взлётной полосы. И здесь всё прошло гладко. Шумкар поймал грача. Это было соколиное ремесло. Но Онищенко тискал Керима за локоть:

– Ты погляди, погляди вокруг-то!

В обозримой окрестности на лётном поле нигде не было птиц.

Так для шумкара началась жизнь хранителя аэропорта.

Выходил с соколом на поле Аширбай. Керим сопровождал их. Люди всё приготовляли, переговаривались по радио, пугали, заставляя взлетать, грачей. Но главное оставалось за шумкаром. И он своё дело делал. Прежде ему не приходилось так много летать. Редко выходил с соколом из дому старый Аширбай, слабеющий с годами. И сидел днями в прохладном сарае шумкар, сидел и ждал. Теперь же надо было работать, много, всерьёз. И он работал. Ибо в охоте была вся его жизнь, смысл и суть.

Охотились только напуском. Иного не требовал хозяин. Но сам шумкар, в охотах оживая, стал припоминать: прежде он умел не только это. Сидя на колкапе, заскорузлой кожаной перчатке, он всё чаще засматривал в небо. И вспомнил в чём его, соколиное, мастерство.

Однажды он, откинутый с руки, не пошёл в угон за грачами. Он стал летать кругами, забирая всё выше и выше, уменьшаясь, становясь мелькающим комочком. Колоколец серебристо пел. Аширбай, удерживая спадающую шляпу, щурился на солнце, но вабила не вынимал. Он стал догадываться, что задумал сокол, и ещё не верил: неужели будет ставка, славный соколиный удар!.. Старик ждал. Наступила пора, и он отдал приказание внуку, Керим поднял стаю грачей. Важно каркая, кружа, птицы тоже стали взбираться. Ветер слегка сносил их. Внезапно стая смешалась. Ровное кружение прекратилось. Птицы заметались, часть их отбилась на сторону. Из глубины неба, описывая стремительную дугу, приближалась точка. Грачи поняли, что эта точка означает для них. Стая распалась.

*** Кырт *(тат.)* – варёный, сладкий творог.**

Точка оказалась над одной из грачиных артелек, остановилась в воздухе и стала падать. Грачи спешили отлететь.

Но точка падала не отвесно, а по крутой скользящей линии. Скорость стала огромной. Донёсся светлый свист.

Линии движения точки и грачей пересеклись. Точка пронзила стаю, проткнула её и мгновенно, гася скорость, свечкой взвилась. Казалось, ничего не произошло. Но из распуганной стаи летел к земле неуправляемый ком, да от того места, где по грачу пришёлся страшный скользящий удар когтей шумкара, ветерок сносил горстку перьев.

Это была настоящая соколиная ставка. Первая за целый год, проведённый шумкаром в неволе. Гордость за питомца охватила Аширбая. Он не сразу отнял у сокола грача. Впервые он видел его таким. Шумкар когтил жертву, рвал клювом, и когда поднялся от добычи, Аширбай увидел этот столь знакомый всякому сокольнику взгляд – взгляд пленника, не желающего быть рабом. Воля, навсегда, казалось, убитая в соколе, вновь толкнулась ещё слабым росточком. И вспомнилось всё, от охоты к охоте. Наступил день, и шумкар показал действительно царский охотничий приём.

Отброшенный с руки, он пошёл невысоко, средним верхом, кругами, но, завидев поднятую грачиную стаю, стал набирать высоту и оттуда, с великого верха, уже почти неразличимый, сделал ставку. Сбитый грач покатился к земле. Шумкар же опять взвился. Он так торопился взять верх, что летел уже не кругами, а свечой, на хвосте. Взнялся и вновь ударил. И опять ракетой, вверх. Он бил и бил, и летели грачи из мечущейся стаи... Когда шумкар, наконец, опустился, на земле лежало восемь сбитых птиц.

* * *

С приездом деда переменилась вся жизнь Керима. Будто детство ожило и вернулось к нему. Где-то рядом был родной двор, лошади у коновязи, запах лошадиного пота, сыромятной подпревшей упряжи. И дедушкин сарай был неподалёку – тот самый, в тень которого Керим любил прятаться от полуденного пекла, где в дальнем углу, на шестке, всегда сидел какой-либо из дедушкиных питомцев.

Но главное было не в воспоминаниях. Работа Керима стала иной. Даже не работа – его место на бетонном поле, среди белых крылатых машин. Керим следил за полётом шумкара, и птица возвращала ему забытое счастье – видеть, как она летит, летит легко, ничем не принуждаемая, свободная. Керим будто сам обрёл крылья. Он вспоминал утомляющее однообразие обычных на лётном поле дней, обыденной работы, когда он и много других людей копошились вокруг самолётов, как чёрные муравьи вокруг гигантских белых личинок, торопя превращение личинки в кокон, чтобы выбралось из кокона крылатое создание и улетело. Отбывал один самолёт, а на его место уже заруливал новый, вставал на стоянку, ждал обслуживания. И опять копошились люди-муравьи, и сияла белыми боками гигантская личинка, равнодушная к муравьям, ждущая одного – улететь. Иногда, когда Керим к концу рабочего дня сильно уставал, когда от ветра и солнечного блеска на лётном поле, от свиста и воя турбин начинала болеть голова, ему и впрямь казалось, что тут существуют рядом два мира: мир слабых людей и мир могучих машин, живущий как бы сам по себе, по своим законам, и которому до людей, в общем-то, нет никакого дела… Керим начинал чувствовать себя ничтожным, будто на бетонных плитах нет кроме него больше ни одной живой души, а только ветер, солнце, машины…

Теперь же чувство стало иное. Керим следил за летящим соколом, и становилось ему так, словно это он сам летит, летит в небе, наравне с самолётами, и уже не они на него, а он на них может равнодушно и свысока посмотреть. «Летающие утюги, едва носящие сами себя! Глядите, как мне легко – раз! И через крыло вниз, ещё – раз! И свечкой вверх и тут же стремительно по кругу!»

Эх, сокол-птица! Недаром сдружились с тобой люди в незапамятные времена. Духом своим воспарил человек и, неспособный к полёту, покорил небо.

Сильным стал человек. Радость ты, птица, дала.

* * *

Для шумкара дни за днями проходили в работе.

Светало. Хозяин подставлял желанную руку. Обычно бывало по две охоты в течение дня. Грачи и скворцы, распуганные с утра, не рисковали собираться на лётном поле до полудня. Каждая охота оказывалась в чём-то новой.

Разнообразие было не только в добыче. Охота даже на одну породу птиц никогда в точности не повторялась. От победы к победе сокол замечал, как крепнут крылья, растёт мастерство. Не было птиц быстрее его. Когда он входил в своё атакующее пике, никто не избегал удара. Разве только лачин, непревзойдённый сокол-сапсан, настигающий даже стрижа, мог сравниться с ним.

Но в небе шумкар видел не только птиц. Он присматривался к самолётам, непонятным для него существам. На земле самолёты бывали неподвижны. Но порой, словно пробуждаясь от сна, начинали страшно грохотать. Они умели, как птицы, взлетать в небо. Шумкар прислушивался к их голосам. Одни натужно ревели, тяжко отрываясь от полосы, или, напротив, гудели затаённо, намереваясь коснуться земли ногами. Другие свистели прозрачно, голубовато, но постепенно свист набирал силу перекатистого взрывоподобного грома, от которого звенели стёкла в домах.

Однако не голоса самолётов приводили шумкара в смущение. Его поразила их быстрота. Он только дважды видел самолёт в полёте, но и этого было достаточно, чтобы понять: в небе есть те, кто быстрее него. Понять с завистью, болезненно остро. Это было чувство хозяина неба, который никому не желал уступать первенства. Чувство делалось тем острей, чем с каждой новой победой над жертвой увереннее становился сокол, тем нестерпимей, чем полнее развивалась его дикая красота. За эти дни непрерывной охоты шумкар сделался очень красив. В облике птицы резко выделялись грудь, лапы и крылья. Сокол как бы только и сделан был из этих трёх частей. Грудь, рельефно вылепленная из твёрдых выпуклых мышц, круто выпячивалась под плотным, тёмно-крапчатым оперением. Крепкие крылья, резко заострённые по концам, приметно толстоватые по переднему краю, могли со страшной быстротой рассекать упругий воздух, умели поспорить с ветром, гуляющим на небесах. Но особенно хороши были лапы: вооружённые кривыми когтями, длинные и мускулистые, широко расставленные под выпуклой грудью – настолько широко, что между ними, если глядеть спереди, оставался виден поджарый живот и перья хвоста, – лапы эти, по-кавалеристски кривоватые, в пёстрых перьевых штанах, обладали великой силой. В стороны и книзу от загнутого клюва по щекам шумкара расходились два тёмных пятна, щегольски похожие на театральные усы с «подусниками», или – на пышные бакенбарды, придавая лицу сокола благородный вид. Природа в мириадах поколений его предков тьмы и тьмы лет шлифовала этот хищный стремительный облик, приспособленный для броска и удара, и даже взгляд шумкара сделала под стать всему: карие глаза были тревожны, в их выражении слились воедино радость победы над пространством и жертвой и вместе с тем затаённый перед грозными силами неба страх. Красота сокола была иной, чем красота самолёта.

Керим невольно сравнивал их. Самолёты были прекрасны, но они не были живыми. И если красота птицы заставляла любоваться собой, забыв про всё остальное, то для чего-то же была она нужна. Зачем-то эта красота придумана, не напрасна же она! Ибо что такое красота, как не обещание победы над тем, что менее красиво. И если тебе открылась красота, значит, и в тебе живёт стремление к победе, и значит, ты

нашёл себе союзника, ещё непонятно как, но объединённого с тобой единой целью…

Старый Аширбай не утруждал себя столь сложными размышлениями. Но перемены, происходящие с шумкаром, он заметил первым. Да и кому же, как не ему, в разных видах повидавшему своего любимца, было не обнаружить, что не только внешне переменился сокол. Иным становился его нрав. Вчера, выпустив шумкара, Аширбай с трудом дождался возвращения птицы. Шумкар летал и летал, кругами уходя всё выше. Иногда он направлялся обратно, но оставался на большой высоте. Напрасно звал его Аширбай, напрасно вертел вабилом, белыми крыльями голубя на шнуре. Шумкар не опускался. Давно вышло время, разрешённое диспетчером на охоту. Приехал и напомнил об этом дежурный. Одиноко стоял на поле Аширбай, видя, как слабеет его власть.

Старик придумывал, чем успокоить шумкара. В общежитии раздобыли оцинкованное корыто, налили воды.

Сокол с удовольствием купался, буйно плескал на пол. В воду Аширбай накладывал лёд, принесённый Керимом со склада. Мокрый, шумкар унимался, затихал, перебирал клювом перья, ждал, пока провянут. Но ненадолго. Купание шло ему на пользу. В глазах сокола наигрался живой блеск. Он часто клекотал. Да, сокол стал иным. Он возрождался. Лишь опутенки и бубенчик, да изредка одеваемый клобучок напоминали, что он пленник. Теперь уже рука хозяина всё реже казалась ему пристанищем покоя. Он возвращался на колкап скорее по привычке. Ему хотелось борьбы.

И ещё хотелось увидеть родные горы. Шумкар не знал, как далеко они. Раз он крепко напугал Аширбая.

Он взыграл, то есть неожиданно взнялся так высоко, что пропал из виду. Взыгравшая птица может отбыть, улететь навсегда. Шумкар взбирался в пустынную синь. Крепкие вихри бродили там, веяло холодом, жестоким, неземным.

Шумкар всё поднимался. Может быть, ещё немного и на горизонте откроются горы, пёстрые склоны, ели, молодой снежок…

Сокрушаясь сердцем, думал старый Аширбай, что дал он шумкару слишком много воли. Пора кончать охоты.

Надо уехать, подержать пленника под замком. Иначе он, пожалуй, может вскоре не вернуться вовсе, улетит. Так думал Аширбай. Но случилось иначе.

* * *

В тот день Онищенко, как обычно, отвёз Аширбая с соколом к началу взлётной полосы. Не выходя из машины, оба ждали, когда можно будет начать. По рулевым дорожкам к полосе величественно плыл белоснежный лайнер, округло-длинный, комкастый двигателями под высоким, торжественно несомым килем. Вот он вырулил на полосу, развернулся, занял место на старте. Постоял, как бы прислушиваясь к себе, сосредотачиваясь перед разбегом.

Затем стеклянистое марево позади турбин заструилось гуще, над низкой травкой поля зарокотало грохотно, самолёт тронулся, покатился, ускоряясь, и стал стремительно удаляться, утягиваться по бетонной стреле с раскатами грома, делаясь меньше, дрожа и пропадая в мареве. Вот он перевалил за пологий бугор, стал ещё ниже и вдруг круто присел на узластый двигателями хвост, вздел в небо белый нос, словно приглядываясь к той высокой выси, куда предстояло забираться, развернул отведённые сзади белые стрелы и, распустив под ними расклешённую юбку дыма, вынырнул из марева весь, неожиданно круто, так круто, что открылся как бы сверху, со спины, и полез вверх по незримой голубой тропе. Шасси утянулись в сияющее серебро. Рокот переломился в тоне и смолк. Только далёкий вой турбин долетал теперь до слуха. Полоса опустела. Лайнер будто поманил бескрылых людей: «Летите за мной. Смотрите, как это просто». И ушёл.

Онищенко переговорил с диспетчером. Минут пятнадцать ни взлётов, ни

посадок не ожидалось. Кивнул Аширбаю:

– Давай.

Аширбай ответил просто:

– Давай.

И вышел с соколом на поле.

Там и сям вдоль полосы, как обычно, были грачи. Потревоженные самолётом, они возвращались. На высоте в сотню метров кружила грачиная стая. Аширбай оборотился лицом в сторону стаи, приподнял руку с сидящим на ней соколом, снял с головы птицы клобучок. Подсказывало ли сердце старому Аширбаю, что в последний раз сидит у него на руке любимый шумкар? Возможно… Не хотелось выпускать сокола. Тревога не покидала старика.

Сокол взлетел. Он поднялся легко и просто, без той натуги, с какой взлетал самолёт, и, уносясь выше, как бы тоже манил стоящих внизу людей: «Ну, что же вы! Летим!»

Грачи заметили сокола, подбирающегося снизу. Они знали: хищник, который внизу, не опасен. Ещё можно спастись. Не дать соколу выиграть в высоте. Тогда он не сможет спикировать и ударить. Началось соревнование. Всё выше взбирался шумкар, лезли вверх и грачи. Они были уже так высоко, что стали роем мошкары. Подгоняемые страхом, грачи забирали на ветер и это делало задачу шумкара ещё трудней. Онищенко, глядя из-под сложенной козырьком ладони, шутливо-сокрушённо покивал:

– Всё, ата. Улетел.

Но Аширбай не принял шутки. Он испуганно посмотрел на начальника.

– Не дрейфь. Вернётся, – успокоил Онищенко. – Всегда же прилетал.

Но в груди у Аширбая ныло.

Грачи сделали круг и теперь стремительно уносились по ветру. Шумкара нельзя было различить. Но он, вероятно, был где-то там, не хотел сдаваться, стремился выиграть высоту. Охота затягивалась. Онищенко посмотрел на часы. Отпущенное время истекало. На подходе к аэропорту был очередной «борт». «Бортами» начальник называл самолёты. Аширбай, суетясь, достал из сумки вабило. Онищенко остановил его:

– Не надо. Пусть летает.

Между тем прибывающий «борт» стал виден: издали, из синевы, к полосе подкрадывался идущий на посадку самолёт. Белый, носатый, как гусь. «Гусь» подбирался к земле бочком, сносимый ветром, медленно, наизволок, протянул позади себя два дымно-серых шлейфа… Несколько минут всё оставалось без перемен. «Борт» приближался, обрастал острыми штрихами крыльев. Ни грачей, ни сокола не появлялось.

Внезапно ещё какое-то движение в небе одновременно привлекло внимание Онищенко и Аширбая. Артелька грачей, налетевших со стороны, тянула над полем. Начинало казаться, что пути самолёта и грачей пересекутся, и хотя вначале в это не очень верилось, чем дальше, тем становилось несомненнее. Будто непонятная сила притягивала их.

В это время звук, знакомый тон звенящего свиста, донёсся с неба. Аширбай вскинул глаза и замер, схватил начальника за рукав. С высоты на грачей пикировал сокол.

– Ой бой, нашалник, ой бой! – успел крикнуть Аширбай.

Шумкар, бросив преследовать стаю, кружил на большой высоте. Внизу расстилался ставший знакомым ландшафт.

Поля, лесополосы, здание аэропорта, самолёты на серой бетонке – белые стрелы и кресты, распластанные по земле... Время шло. Шумкар поджидал добычу. И он увидел её. Сокол зашёл на ветер, занял идеальную позицию для начала атаки. Грачи шли прямо под него. Шумкар завалился через крыло, вошёл в крутое пике.

Но ещё не начав атаковать, он увидел соперника: снижаясь отлого, наперерез грачам летел самолёт.

Издали он казался маленьким, не больше стрекозы. Вид самолёта подхлестнул шумкара. Опередить, ударить раньше. Металлическая птица приближалась к его добыче. Второго победителя быть не должно. В небе один

победитель – шумкар. Сокол вложился в бросок.

Он падал со страшной быстротой. Воздух отвердел и сделался жёсток. Крылья сокола запели. Свист услыхали грачи. Часть их круто свернула со своего пути, но одна пара, отчаянно работая крыльями, неслась по-прежнему к полосе.

Последующее произошло почти в одно мгновение.

Шумкар опередил, ударил. Скользящий удар кривого когтя, того, который как большой палец в руке человека противопоставлен остальным, – удар этого когтя пришёлся по грачиной шее и был так силён, что голова, отсечённая напрочь, полетела рядом с тушкой вниз. Сокол опередил.

Но моментально вслед за ударом он круто взмыл вверх, уходя от опасно близкой земли. Вверх – под налетевший металл, под визг и скрежет турбин…

Случилось это уже в нескольких метрах над полосой. Самолёт пронёсся слепящим сиянием мимо Онищенко и Аширбая и, шваркнув черными комьями шасси по бетонке, вспылив белым прахом, подскочил и устало сел на три свои ноги, став плоским и длинным. Рёв двигателей чудовищно разбух и резко схлынул. А в жёсткой травке на обочине бетонки ветер пошевеливал комок пёстрых перьев – то, что ещё минуту назад было соколом шумкаром.

* * *

Только теперь, уже с мёртвого, сняли с шумкара ремешки-опутенки, перестал докучливо звенеть бубенец. Он вернулся к свободе, в которой ему уже не суждено было жить…

Уехал домой Аширбай, увёз в багаже ненужный клобучок. И снова Керим, как прежде, начал работать. Снова выходил он на поле в промасленном тяжёлом комбинезоне, в шлеме с наушниками, со свёрнутым в кольца телефонным шнуром. И опять таскал колодки, электрические кабели, топливные шланги… Но теперь работа стала для него не просто однообразной. Он понял, что того, чего искал он в своей профессии, – воли – в ней нет. И скучно стало работать. Подумывал он даже уволиться. Да куда уволишься? Везде, наверное, то же. Правда, слышал Керим, что где-то в других аэропортах тоже пробовали использовать соколов, и даже слышал похвалы, что это, мол, современно и экономично. Между прочим, это спасло Онищенко, которого собирались крепко наказать… А что? Может, и он, Керим, будет когда-нибудь в новой роли, будет какой-нибудь штатный мунушкор? Чего же и увольняться тогда? Надо ждать.

Только, даже когда Керим мечтал об этих новых перспективах, ему почему-то не делалось радостно. Может быть, оттого, что он уже знал, чем закончилась затея с шумкаром. А может, ещё и потому, что понял – птицы не из тех, которые согласятся делить с машинами небо, как люди делят с ними землю. И не за это ли, за непокорность, влечёт человека к птице, чтобы хотя ненадолго, хотя бы через кожу перчатки ощутить волю, присевшую на руке?..